

ДУРОЧКА И СИЗИФ

(рассказ-эссе)

Бес литературный, как Сергей Арзамасцев любил пошутить, проклянулся в нём лет тридцать назад. Хотя, и в юности тоже, но юность не в счёт, на заре жизни многих посещает бес сочинительства. Юность на то она и юность, половодье чувств, разлив желаний, огонь страстей, пора мечтаний, игра гормонов — Сергей Адамович вот уже скоро полвека трепетал от воспоминаний первой любви. Наташа... Наташенька... Натали... он встретил её лет через тридцать, на один только миг, в другой жизни, но — снова вспыхнуло, словно короткое замыкание обожгло. Увы, по разным широтам разнесла их к тому времени жизнь. Оба были несвободны. Пришлось всё снова — не забыть, нет, но в копилку памяти отложить... Теперь навечно...

Да, стихи писал, глупые, яростные, безнадёжные порой, много раз начинал и бросал — в юности, — но всё не то, в стихах и сохой доли не было тех чувств, что бились в нём, как птица бьётся в клетке. Слова выходили бессильные, бледные. Тени. Бывало, ночью шёл, душа пела, стихи сочинялись сами, он декламировал их луне, звёздам, а приходил домой, садился за стол, брал ручку и — исчезали слова, гасли звуки, беспомощно сидел часами над чистым листом бумаги.

Да, не поэт, не судьба ему нанизывать рифмы на бегущие строчки слов. Недаром сказали как-то: версификатор. Печатали в городской газете, но городок был маленький, на краю страны, настоящих поэтов там не видели отродясь. Разве что портреты среди полупустых полок в Центральной библиотеке. Редактор был немолодой человек с интеллигентской, старорежимной бородкой, говорили — из России, добрый. Вот он-то и печатал за неимением лучших.

К восемнадцати годам Сергей и сам понял: не его стезя. В Москве в журнале стихи Арзамасцева раскритиковали. Что-то в нём оборвалось, чернила иссохли. А может, глупо расстались с Наташей...

Он собирался было переключиться на прозу. Но о чём писать? Про комсомол? Про завод? Комсомол Серёжа не любил. Состоял, да, все состояли, это была огромная ложь про коммунизм, до тошноты, конвейер, где души подвергали гипнозу, а со временем всё больше делали вид, на заводе же он никогда не работал, только на практику водили в школе. Хрущёв-недоумок придумал отнять год, но Арзамасцев так и не научился ничему. Писать, в сущности, было не о чем. Мечтал поступить в Литинститут, но в последний момент передумал и никогда потом не жалел.

Выходит, в юности баловство, проба пера; лишь достигнув возраста Христа, он кое-что стал понимать в жизни — в той убогой, застойной, советской, с очередями и блатом, совсем не такой, как хотелось, но вместе и полной надежд: ведь молодость, семья, дети, диссертация; в той жизни, где правда и ложь сиаемскими близнецами переплелись, срослись. Да, кое-что он начинал понимать, вот тогда его снова потянуло к перу. И чем дальше, тем больше. Арзамасцев после тридцати уже учился читать в душах. Это, как трясина. Затягивало. Он тогда кардиологом работал, сидел в поликлинике и беседовал по душам с людьми. Доктор Арзамасцев в белом халате. Сергей Адамович оказался любопытным. Узнавал разные истории, судьбы, сюжеты. Созревал. Его собственный опыт был скуден — застойное время, пустое, совковое. Он учился по книгам, у людей.

Прозрел Арзамасцев к началу восьмидесятых. Он не мог знать, что Советский Союз распадётся, но почувствовал: идея умирает. А может, умерла. Окончательно. Очереди, колбасные электрички, анекдоты, бессмысленные старцы в Политбюро, Афганистан — тянуло смрадом. Он догадался: распад. Он не знал, что будет после. Но начал писать свой роман. Он знал, что в стол, что ни одно издательство его не напечатает. Что — цензура.

Роман был антисоветский, роман — откровение, прежде всего для него самого. Арзамасцев и писал для себя. Этот роман был его университетом. Роман был сложный. Сергея захватила сверхидея. Он хотел показать, как возникает лжетеория, захватывает людей, и как она рушится. Не может не рушиться. Закон природы. Он писал про НИИ, но имел в виду совсем другое. Перебрасывал мостики. Учился быть Эзопом, играть в кошки-мышки с цензурой.

Это не была пустая работа. Напротив, работа на будущее, которое только вызревало. Он и время: они двигались навстречу друг другу. История собиралась совершить крутой поворот.

Он начал писать потому, что испытывал в этом потребность. И — он чувствовал — талант его рос. Он — раскрепощался, писал всё лучше, всё легче. Он становился мудрым, проницательным. Художником. Прогрессировал на глазах. Вторая часть романа была намного сильнее, чем первая, но особенно — третья. До времени роман оставался тайной. Это было его, личное, святая святых, куда никому не было дороги. Его сокровище, его исповедь.

Между тем наступила перестройка. Он отнёс первую часть романа в журнал: стало можно. Там сказали: талантливо и обещали напечатать, но потом замытарили. Многое тогда хлынуло из тайных хранилищ, многое тайное стало явным, а у него не было громкого имени.

Сергей Арзамасцев так и не закончил в то время роман: не хватило сил, и времени тоже — сломалась эпоха. Настала другая, как весна после долгой зимы, а с ней — новые мысли и чувства. В гонке со временем он проиграл. Ещё недавно он казался себе пророком, открывателем, ниспровергателем, но новое время его обошло. Появились другие пророки: громкоголосые. Но и они — ненадолго, потому что скоро закончилось время литературы. Место писателей заняли политики. Потом обанкротились и они. И настала пустота...

Вместо ораторов очень скоро расплодилось декламаторы... Жополизы...
Вместо демократов дерьмократы...

Роман, почти законченный Арзамасцевым, остался в прежней жизни, в семидесятых-восьмидесятых, сам же Арзамасцев яростно кинулся в новую. Он не станет депутатом, не станет большим предпринимателем, не судьба, но — не утонул, выжил, хотя его не раз могли убить. Восемнадцать лет он ничего не писал. Думал, что муза покинула его навсегда, не до того стало, но оказалось — на время. Он допишет свой роман уже в двухтысячные. Мастерство

его к тому времени возросло, расцвело, он легко описывал то, что раньше ему не давалось. Но — он вышел из темы. Он дописывал холодной рукой. Это был он, прежний Арзамасцев, но и совсем другой человек. Его роман пролежал слишком долго. Впрочем, в двухтысячные время повернуло назад. Покатилось в брежневщину, в застой. Прошлое снова стало актуальным. Всё возвращалось на круги своя...

... Он всё-таки кое-что успел в восьмидесятые. Несколько повестей и рассказов, издал книгу. Но книга затерялась, сохранилось лишь несколько экземпляров, всё осталось в прежней жизни. Рассказы, публикации в «Литературной газете», передачи на радио — всё ушло. Так уходит вода в песок. Он так и остался чужаком.

В двухтысячные Арзамасцеву придётся начинать всё сначала. Даже мысли его повторятся. Среди прочих, — о славе. Да, Сергей Арзамасцев хотел славы. А потому нередко думал о читателях. Где они, кто они, его читатели? Похожи ли на него? Ведь когда-то и он был читателем. Хотя и сейчас. Но обычно он представлял себя пятнадцатилетним. Давно-давно это было...

... В каждом из нас сохранилась частичка детства. Вот и он, Серёжа. Он приходил в библиотеку — библиотека стояла на отшибе, на пустыре, в библиотеке всегда было чисто и пусто, только Елена Викторовна, молодая, красивая, в накинутом на плечи оренбургском платке; она фанатично любила книги и писала стихи, интеллигентка, из дворян, на дикой окраине огромной империи — но это сейчас, сейчас, тогда он не думал об империи, не мог догадаться, — случайно узнал только, что родители её были из ссыльных. Он рылся в книгах, иногда его привлекали корешки, но чаще — фамилии. О, кого он только ни открывал! Мемуары де Голля, Черчилля, романы Фолкнера, Хемингуэя, Амаду. От Елены Викторовны Серёжа, кажется, впервые услышал о Достоевском. Похоже, Большой Брат так никогда и не добрался до тихой, окраинной библиотеки. Там были Пильняк, Бабель, даже Мандельштам. Лишь много лет спустя Сергей Адамович догадался, что Мандельштам и Пастернак были не библиотечные... Что Елена Викторовна тайно просвещала его... Штампов не было на семнадцатой странице...

Он выбирал книги по фамилиям авторов. Читал тех, кто был на слуху, или кого подсказывала Елена Викторовна: Симонова, Эренбурга, Шолохова, Виктора Некрасова, Есенина, Блока, Ахматову. Тогда же на время всех затмил

Солженицын. Были и другие писатели: Платонов¹, Синявский с Даниэлем, Тарсис² — о них Серёжа слушал по голосам.

Как читатель Арзамасцев не принадлежал к племени открывателей. Он был потребителем. Так же, как тысячи и миллионы других. Да, в то время были ещё миллионы. Оттепель. Страна оживала. За книги дрались в очередях. Книги читали, не только ставили на полки.

... Семидесятые, восьмидесятые. Застой. И снова замелькали декорации. Горбачёв, Ельцин, лихие девяностые. Театр абсурда. Только почему лихие? Почему театр? Говоря объективно, для Сергея Адамовича девяностые вовсе не были лихими. Его не убили, не ограбили больше, чем других, не посадили, его не тронули бандиты, он прожил без крыши и даже завёл свое дело. Дело было маленькое — торговля недвижимостью, — медицину пришлось оставить. Он выстраивал свою фирму долго, словно дом на песке, но всё же чудом дотянул до середины двухтысячных, закрыл свою фирму в две тысячи шестом, за два года до нового кризиса. Всё вышло точно по Марксу: концентрация капитала. Маленькая фирмочка не выдержала конкуренцию. Но и ещё: произошло то, чего не предусмотрел классик, — фирму разворовали пролетарии. Они уводили сделки. В конце концов, Арзамасцев стал смотреть на это философски. На их месте он делал бы то же самое. К тому времени он устал тащить воз — в двухтысячные мелкому бизнесу совсем перекрыли кислород. Арзамасцев предпочёл жизнь не слишком богатого рантье. Он впервые был свободен. Потому что свобода — это не выборы, даже — не честные выборы; свобода начинается с себя. Свобода — когда ты ни от кого не зависишь.

Так вот и случилось, что Сергей Арзамасцев вернулся в литературу. Может быть, оттого, что некуда больше стало идти. Теперь он знал, о чём писать: сама история стояла у него перед глазами.

¹ Андрей Платонов — один из наиболее ярких писателей советского времени. Неоднократно подвергался шельмованию. Умер в возрасте 52 лет от туберкулёза. В советское время практически не известен, за исключением узкого круга специалистов, книги его не издавались и в библиотеках отсутствовали, то есть практически был «исключен» из литературы.

² Валерий Тарсис (1906–1983) — советский писатель и переводчик, диссидент, литературовед, автор ряда произведений, которые были признаны антисоветскими и печатались в самиздате. Среди них: «Сказание о синей мухе» и «Палата № 7» (автобиографическая повесть о принудительном психиатрическом лечении). Подвергался репрессиям, в том числе принудительному психиатрическому лечению, в 1966 году был выслан из СССР и лишен советского гражданства.

Писателю Арзамасцеву, можно сказать, повезло. Он видел социализм — сталинский, брежневский, тупой — и ненавидел социализм с его несвободой. Он видел капитализм и ненавидел капитализм с его олигархами и бесправием. Это был не тот капитализм, и не та демократия, которых он ждал. Капитализм, в сущности, был такой же, как социализм: та же власть, те же люди наверху, похожие лозунги, только хитрее, такие же чиновники, только ещё более вороватые. Он видел Россию, которая теперь называлась демократической и новой, рассматривал её под микроскопом. Это был всё тот же портрет, нелицеприятный, уродливый, что писали Салтыков-Щедрин, Гоголь, Достоевский. Внешне многое поменялось, стало иным, и — всё то же. Русская система¹. Словно история — не река, а затхлый, илистый пруд, по которому время от времени бегут круги.

Сергею Арзамасцеву было теперь о чём писать. Он втянулся очень быстро — он любил сидеть за столом наедине со своими мыслями; он обожал одиночество. Он достал свой незаконченный роман, стал вспоминать...

Между тем за то время, что Сергей Арзамасцев выживал, зарабатывал на жизнь и изучал её сблизил, — то был невольный, нечаянный курс: в девяносто первом он стоял у Белого дома, а в девяносто третьем — у мэрии, — все переменялось в литературе. Стало не лучше и не хуже, по-другому. Если раньше это было огромное Министерство литературы — Министерство правды, с секретарями, издательствами, цензорами, главредами, с дядями Митями из идеологического отдела, куда допускали только своих, проверенных, партийных, и только изредка — талантливых чужаков, то теперь... Арзамасцев с некоторым удивлением узнал, что все толстые журналы пережили Советский Союз и даже лихие девяностые, но теперь их почти никто не читает. Тиражи стали мизерными, а сами журналы — скучными. Впрочем, скучными они были и раньше, но раньше стоило только намекнуть... А сейчас, кому интересна буря в стакане воды? Ещё он узнал, что писателей стало много, тысячи, но — почти нет ярких имён. Что издательства бедствуют, и, чтобы выжить,

¹ Русская система — этот термин введен учёными, преимущественно политологами, для характеристики особенностей и отличий политической системы России на протяжении столетий её истории от политической системы Запада. Для русской системы характерны монособъектность власти, её отчуждение от населения, крайняя централизация и доминирование над иными институтами, отсутствие действительной системы разделения властей. Считается, что подобная политическая система сложилась под влиянием Орды.

раскручивают книжки про килеров и бандитов. Что литература теперь — бизнес, но бизнес убыточный. Что книжные магазины закрываются. Что появилось много новых журналов — энтузиасты пока не перевелись, — но и эти журналы мало кто читает. Что книги, даже хорошие, теперь издают за свой счёт, а по телевидению и по радио за деньги рекламируют графоманов. Зато появились «Проза.ру» и «Стихи.ру», и в стране теперь целых полмиллиона поэтов. И что писатели и поэты пишут на этих «ру» друг другу рецензии, взаимно, нечто вроде самообслуживания, и что эти рецензии заменяют читателей.

— Как же найти настоящих писателей в этом море? — заинтересовался Арзамасцев. — Это всё равно, что искать иголку в стоге сена.

— Вы сами ответили на свой вопрос, — сказали ему. И засмеялись:

— Теперь у нас равенство. Как при коммунизме.

На этом откровения не закончились. Оказалось, что существует огромное количество премий и что у каждого поэта и писателя, даже самого бездарного, есть премии и награды и часто, чем бездарней, тем больше наград. И что многие писатели — члены разных академий, нередко весьма экзотических. И что многие премии, награды и ордена продаются за деньги. А ещё: проводится огромное количество фестивалей, появился даже термин такой: «литературный туризм» — на этих фестивалях поэты пьют водку и читают друг другу стихи. Словом, огромная индустрия, со своими дельцами и энтузиастами, где покупатели и продавцы — одни и те же люди.

Арзамасцев был человек со стороны, и от этого поначалу, пока не привык, всё это показалось ему странным. Он представил обувную фабрику с огромным конвейером, на котором тысячи людей шьют туфли, которые никто не покупает. Смешно? Такого просто не может быть. Такую фабрику тотчас же закроют.

Впрочем, нет, воображение подсказало Арзамасцеву, что такие фабрики существовали — при развитии социализме. Но там — план. Оттого социализм и вылетел в трубу. Хотя: при социализме сметали всё, даже брак.

Выходило, что поэты блаженные люди, занятые перепроизводством. «Пусть так, — возразили Арзамасцеву, — пусть лучше стихи пишут, чем водку пьют».

С Арзамасцевым всё происходило по-иному. До времени он сторонился суеты. Он только работал. Закончив свой первый роман, он не стал его куда относить — роман был слишком толстый для журналов, — положил в стол и принялся за новый.

— Всяк сходит с ума по-своему, — сказала жена.

— Чем бы дитя ни тешилось, — отвечал он.

Писатели, в самом деле, дети. Честолюбивые дети. Но, с другой стороны, разве не честолюбие и любознательность толкают на открытия учёных, путешественников, мореплавателей, изобретателей, авантюристов, заставляют творить актёров и режиссёров? Да, честолюбие, и ещё — творческий порыв, жажда самовыражения. Арзамасцева же захватила История, та, что с большой буквы. Он её видел, трогал руками, участвовал, он не был рядовым — теперь он хотел описать, понять, когда всё улеглось. Когда смирилось течение жизни. Когда История на время замерла. Он писал исторический роман, на основании личного опыта, от восемьдесят девятого года (или восемьдесят восьмого?), когда он впервые вошёл в тесную квартиру, где собирались члены ДемСоюза — прямо с корабля на бал, там телевизионщики снимали фильм и брали интервью; оппозиция — это было модно — и до девяносто шестого, до президентских выборов и залоговых аукционов, когда ясно стало, что их, его, использовали втёмную. Что революция окончательно выдохлась. Что революцию делали одни, а все выгоды получили другие. Что Россия снова в тупике.

О, это был великий роман, «Война и мир» двадцатого века. Так, по крайней мере, казалось Арзамасцеву.

О, он не был скромн. Напротив, он был дерзок. Он в очередной раз, как в политике или в бизнесе, бросал вызов судьбе. В сущности, он должен был ответить лишь на один вопрос: почему всё произошло именно так? И — могло ли быть иначе? Отчего история России так фатальна?

По мере того, как Арзамасцев писал, вопрос раздваивался, делился на множество других, всё новым вопросам не было конца. Могли ли победить демократы? И — были ли настоящие демократы? Или — только большевики? Что мы (они?) хотели построить? Был ли какой-то план? Почему сразу забыли о конвергенции? Где, когда совершены были роковые ошибки? Вопросов было множество. Арзамасцев всё больше ощущал себя не просто писателем — не столько писателем, — но и историком, и философом. Или это и есть настоящий писатель?

Через год или два он почувствовал усталость. Временами Сергей впадал в депрессию. По ночам груз казался неподъёмным. Роман всё больше разрастался и этому не видно было конца. Он чувствовал себя Сизифом, обречённым. Но — подавлял свою депрессию; чем сильнее испытывал приступы усталости

и тоски, тем больше заставлял себя работать. Он бросил вызов судьбе, он должен был победить. Должен! Так продолжалось несколько месяцев.

Со временем, однако, Арзамасцева стали одолевать новые мысли. Что станет делать он, когда закончит свою эпопею? Положит в стол? Понесёт в издательство? Но в каком издательстве станут читать его труд, быть может, многотомный, если у него нет громкого имени? В издательствах, говорили, на чтение большого романа ридеру положено всего несколько минут. Издать за свой счёт? Но кто станет читать его роман? Это в советское время дрались из-за книг.

Имя — вот что нужно ему! Имя! И он решил на время оставить свой роман, эту глыбу неподъёмную, и отправиться за именем. Он знал, что шансов у него мало, что перед ним стена, иные писатели десятилетиями поднимались со ступени на ступень, обзаводились знакомствами, но выбора у него не было.

Потребовалось всего несколько месяцев, и новый роман был готов. Слегка легкомысленный, слегка сатирический, милый и умный роман, так казалось Арзамасцеву. Он отнёс его в журнал. Роман был либеральный, как и сам Арзамасцев, и журнал считался либеральным, но роман не взяли. Стена. Несколько месяцев Арзамасцев штурмовал либеральную стену, переносил свой роман из одного толстого журнала в другой. Разница была только в том, что в одном месте роман прочли быстро и тотчас вернули, в другом — держали очень долго, так долго, что Арзамасцеву надоело ждать, и он отнёс своё детище в патриотический.

И — завертелось. Нет, он не проснулся знаменитым — не те тиражи и не то время — всё снова, как вода в песок, это он уже проходил. Разве что в интернете обнаружил несколько благожелательных рецензий. Потом ещё. Газеты писали, но кто же сейчас читает газеты? А он не прибывал к асфальту мошонку, не оскорблял чувства верующих, как бесшабашные пуськи, не приковывал себя к зданию «Нью-Йорк таймс», как знаменитый Эдичка Лимонов.

И всё же... Спокойная жизнь закончилась. Ему бы ещё несколько лет упорно трудиться изо дня в день, — но это он потом, задним умом, — а он вступил в Союз. Дачи там теперь не давали, из-за дач шли суды и даже завели уголовное дело, судились не простые писатели, генералы, поливали друг друга, дом творчества остался только один, и поликлинику увели, зато...

... Зато в Союзе было интересно. Колоритные люди, имена, портреты. Славное прошлое. Сталинские вельможи на стенах. Литературные маршалы. Тени, привидения. Расстрелянные, сосланные, доносители, легенды. Дядя Степа за

углом. Знаменитый ресторан на Поварской. Тот самый, где убили деда Хасана¹. Виртуальные таблички: «Здесь хулиганил Смирнов-Осташвили»². «А здесь избивали Домбровского»³. Буфет, где во время оно КГБ прослушивал выпивающих писателей. Это сейчас они никому не нужны, а ещё недавно... Писательский дом, перманентно требующий ремонта, на который нет денег. И другой, через улицу — Ростовых, — превращенный в Воронью слободку. Интриги, хозяйственные споры, бизнес. Либералы, охранители. Газета русских писателей.

Арзамасцев был человек новый, неопытный, слегка идеалист, а оттого чуть ли не сразу оказался в положении Бобчинского и Добчинского, принявших Хлестакова за ревизора. Только он, Арзамасцев, принял Сашу Гордиенко за одного из главных боссов. Да ещё и за знаменитого литератора. Ошибиться было легко. Саша награждал премиями, вручал ордена, носившие имена классиков, а если и не вручал сам, то обещал похлопотать, на столе у него лежали незаполненные грамоты от префекта и письма из мэрии, куда только нужно было вписать фамилию и имя и даже ордена от Госдумы. Говорили, что Саша всё может, даже похлопотать о звании почётного деятеля искусств. Что всё имеет свою цену, так это далеко не сразу узнал Арзамасцев. А вот что в первый день: вывеска с золотым тиснением на двери. Из вывески следова-

¹ Дед Хасан, настоящее имя Аслан Усоян, криминальный авторитет, лидер «кавказских» преступных группировок, распространивший своё влияние на криминальный мир всего постсоветского пространства и ряда стран Запада. Убит в 2013 году во дворе ресторана «Старый фэтон» — во дворе Центрального дома литераторов.

² Константин Смирнов-Осташвили — известный русский националист и антисемит, Председатель Союза за национально-пропорциональное представительство «Память», основатель и руководитель Клуба друзей журнала «Наш современник», «прославился» дебошем в Центральном доме литераторов 18 января 1990 года во время собрания писателей, членов общества «Апрель». Был осужден на два года лишения свободы, в тюрьме повесился.

³ Юрий Осипович Домбровский (1909–1978) — прозаик, поэт и литературный критик советского периода, автор романов «Факультет ненужных вещей», «Хранитель древностей» и других, был четырежды репрессирован. В 1978 году после опубликования на Западе романа «Факультет ненужных вещей», был избит в фойе Центрального дома литераторов группой неизвестных, предположительно агентов КГБ и через несколько недель, не выходя из больницы, скончался от сильного внутреннего кровотечения.

ло, что Александр Гордиенко, как минимум, секретарь, председатель Высшего экономического совета, да ещё и лауреат. Премия значилась весьма авторитетная. Впрочем, в то время Арзамасцев разбирался слабо. Он пока всё принимал всерьёз.

Сергей Адамович посчитал: выходило, что третий человек в Московской организации. Столп. Молодой, подающий надежды литератор, ответственный секретарь солидного журнала. Это потом оказалось, что журнала вроде и не существует. То есть, с одной стороны, журнал был, в нем печатали людей с именами, и прочих — за средства авторов, но, с другой стороны, обнаружить этот журнал с профилями Огарёва и Герцена ни в одной библиотеке Арзамасцев так и не смог. Но это всё потом, потом; тогда же идеалист Арзамасцев верил, что пришёл в сакральное место, в храм, и вовсе не ожидал подвоха.

О, Саша Гордиенко был jovialный тип: одухотворённое, даже красивое лицо, волосы до плеч, настоящий Ленский, любимец женщин, краснойбай, глаза с поволокой, обожатель муз, преимущественно белокурых, как раз в то время у Саши бурно развивался роман с очередной Офелией; мирское в Саше выдавало лишь сытое брюшко поклонника французских коньяков и итальянской граппы. Словом, синьор из высшего общества. Впрочем, и про Офелию, и про коньяки Сергей Адамович узнал позже; в момент знакомства ригорист Арзамасцев наивно не подозревал о существовании виноградной водки.

Вопреки внешности, Саша Гордиенко не был поэтом. Только прозаиком. Бруталистом, как он сам себя характеризовал. Действительно, проза Гордиенко была брутальна, как топор, с матерком, и писал он всё больше о хулиганах, бандитах, наркоманах и килерах. От учёбы в Литинституте у Гордиенко имелось определённое мастерство, он умел блеснуть, умел заговорить, но человек он был исключительно беспринципный, гоголевский тип, смесь Хлестакова и Чичикова. Но это — потом, далеко не сразу разобрался Арзамасцев. А уж как хвалил Саша только опубликованный роман Сергея Адамовича — так, будто в самом деле его прочитал.

Вот он, краснойбай Гордиенко, и убедил Арзамасцева, что нужно ехать в Неаполь на Школу романистов. В Неаполь, где бывали Гоголь и Горький — проездом на Капри! «В Неаполе вы сможете блеснуть своей эрудицией перед итальянцами и перед нашими, конечно. Там будут одни корифеи».

Вообще-то адресов было множество: Варшава, Берлин, Париж, Лондон, Мадрид, Нью-Йорк. Везде были выставки, фестивали, конференции, презентации, мастер-классы — литература Гоголя, Толстого и нашего современника

Проханова мановением Сашиной руки покоряла изумлённый мир. Покоряла, правда, несколько своеобразно. Разместившись в четырёхзвёздочном отеле, российские писатели выступали обычно друг перед другом. Но откуда было знать об этом новобранцу Арзамасцеву?

Нужно признаться, Арзамасцев был впечатлён размахом писателей России. Неясно, правда, было, на какие шиши? И почему Лондон и Париж, а не Пенза, Вологда и Саратов?

— Увы, — вздохнул Саша, — за свой счёт. Да вы не беспокойтесь. Скоро вы сами станете миллионером. Мы издадим ваш роман в Париже.

Арзамасцев не поверил, чем очень потом гордился. Но всё равно приятно. В Париже! О, Саша Гордиенко умел найти подход. Умел сказать то, что хотели от него слышать. Умел польстить, пустить в ход своё беспредельное обаяние. В тот день он без особого труда сумел убедить Арзамасцева ехать в Италию, в страну Петрарки и Данте. В Неаполе, в этом городе рыбаков и моряков, фиесты и каморры, святого Януария и театра Сан-Карло, некогда самого большого в мире, в городе, хранящем память королевства Сицилии и римских легионов, знаменитом видами на Везувий — в этом городе будет давать мастер-классы сам Мэтр.

Поначалу Арзамасцев слушал скептически. Чему можно научиться за несколько дней? Пожалуй, много больше подействовал на него доклад: «Новая русская революция». Тут его хлебом не корми...

О, да, он хотел рассказать итальянцам о том, как революцию украли. О том, как демократию опорочили, а имя демократов присвоили другие. О том, кто виноват, что слово «либерал» стало ругательным. О том, почему вышло именно так и почему по-другому быть не могло. Что за семьдесят лет страна была слишком изувечена. И — не те были вожди. Но других не было. И что народ устал, разочаровался. И что никакой новой революции нет. Болотная площадь — только эпизод, стихийное возмущение, не больше. Усталый народ снова должен копить силы, и что нынешнему поколению ничего не светит. В сущности, это было продолжение его романа.

Впрочем, не только доклад: Саша Гордиенко обещал издать роман Арзамасцева на итальянском.

Странно показалось другое: «Новая русская революция» — в «патриотическом» Союзе. Но Саша был человек широких взглядов. Его интересовали деньги, а не «патриотизм». Года три спустя он организовал сразу две конференции: «Наш Крым и Донбасс» и «Вильна, незалежна Украина». Разница

была лишь в цене. За выступление на «Крымнаше» взнос составлял пятнадцать тысяч рублей, а за «Вильну, незалежну» — ровно вдвое больше. Но это — потом; к тому времени много чего интересного открылось Арзамасцеву.

Не только на Хлестакова похож был Саша Гордиенко. А чем, например, не Ходжа Насреддин? Не Остап? Весёлый человек, плут, он обещал раскрутить графоманов в больших писателей. «Дайте мне миллион долларов, — любил повторять Саша, — и я раскручу даже обезьяну».

Да, Мюнхаузен отдыхает. Тот, по крайней мере, врал вполне бескорыстно. Саша же возил своих доверителей и клиентов — в Нью-Йорк и Лондон, и по прочим европейским столицам, заглядывал даже в Пекин. В Нью-Йорке вручал Всеамериканскую литературную премию, учреждённую собственным, то есть его, Саши, Союзом писателей, в Лондоне — Всеанглийскую, специально для российских писателей-лохов. Премий было множество, всех не перечесать. Саша Гордиенко был великий пиарщик, умел обращать человеческие слабости в звонкий металл.

Лишь изредка случались казусы: Сашу били. Об этом он сам с возмущением, но и с нескрываемой гордостью рассказывал в интернете. По утверждению Саши, били его бездари и завистники, те самые обезьяны. Но это — через несколько лет после Неаполя. К тому времени Сергей Арзамасцев наблюдал за Сашей Гордиенко исключительно на расстоянии. Издалека он даже любил Сашу. Сергей Адамович собирался когда-нибудь написать сатирический роман о литературной тусовке, и плут Саша был его любимый герой. Или прототип.

Но это всё опять-таки — потом. А тогда, перед Неаполем, Мэтр. Это была козырная карта. Туз.

О, Мэтр — почти классик, телезвезда, слегка диссидент, фрондёр, участник «Метрополя», Кавалер Почётного легиона, масон, филолог, доктор наук, специалист по эротике в литературе. У Мэтра была неоднозначная репутация, но это нисколько не мешало тому, что его обожали в Европе. Во всех магазинах русской книги — от самого кончика итальянского сапога до незамерзающих северных морей — лежали его книги, особенно знаменитая «Пять жён Лазаря». В Европе Мэтр числился самым сексуальным русским писателем, оставив далеко позади самого Баркова. Правда, незадолго до Неаполя с Мэтром случился странный казус. Выступая, кажется, в Берлине, он положил взгляд на журналистку-еврейку и произнёс во всеулышание в микрофон: «О, Роза, какие у вас груди! Какие красивые еврейские груди, да ещё без

лифчика», после чего все немецкие газеты дружно обозвали его антисемитом. Оправдываясь, Мэтр заявлял, что он вовсе не антисемит, а просто очень неравнодушный мужчина. Это было похоже на правду. Впрочем, история эта скоро стала забываться.

Как бы там ни было, пообщаться с Мэтром казалось интересно и даже престижно. Но тот скоро невзлюбил Арзамасцева. К сожалению, Арзамасцев виноват был сам...

... Мэтр вещал о том, что литература для него — общение с Богом. Сидит у себя на даче на потёртом древнем диване и слушает. Словно старое радио трещит, так вот, сквозь шум и треск сам Господь диктует ему. А он, Мэтр, только записывает. Впадает в транс, закрывает глаза, сквозь тело проходит особая волна... Сродни сексу...

— «Что-то пошловат ваш Бог, — с иронией думал Арзамасцев, — да ещё и озабочен. Всеми мыслями вертится вокруг пещеры блаженства. И Лазарь ваш каждый день умирает и оживает у этой чудодейственной пещеры».

Взял и ляпнул:

— Точно так же я слушал когда-то «Голос Америки» и «Би-Би-Си». Такой же треск, да ещё глушилка.

Мэтр, словно очнувшись, зло сверкнул глазами. Он выглядел, как неожиданно разбуженная сомнамбула...

Вероятно, он простил бы Арзамасцева, забыл бы, но...

Но Сергей Арзамасцев был аккуратнейший человек. Собираясь в Неаполь, он — единственный, кажется, — купил и прочёл знаменитый роман Мэтра: «Пять жён Лазаря». Прочёл и... Роман был, несомненно, написан талантливой рукой, даже более того. Арзамасцев сказал бы: гениальной, но он не считал себя вправе присваивать подобный эпитет никому, кроме разве что самого себя, — да, рука была матёрого мастера, нечто булгаковское, марковское, роман был блестящ и остроумен, спору нет, но и пошл, и кощунствен одновременно. Лазаря, по Мэтру, — а по некоторым признакам это был тот самый, из Вифании, будущий епископ Китиона¹, четырёхдневный — вовсе не воскрешал Христос, он сам много раз умирал и воскресал от телесной любви

¹ Китион — древнее название города Ларнака на Кипре. Согласно догматам православия, Лазарь, оживлённый Иисусом, после воскресения последнего вынужден был бежать из Палестины на Кипр, где вскоре апостолы Павел и Варнава в 45 году поставили его первым епископом Китиона. Католическая церковь считает его первым епископом Марсея.

с каждой из своих жён. Так что, если, конечно, Арзамасцев не заблуждался и всё правильно понял, это был парафраз Евангелия, но — странный, апокрифический, языческий... Евангелие от нечистого, что ли? Впрочем, тут ещё сложнее: действие романа как бы происходило вне времени, вернее, в разных временах, роман выглядел фрагментарным, на грани заумия, бреда. Пять жён Лазаря — русская, полька, француженка, немка, китаянка — напоминали собственных жён Мэтра, лишь порядок был нарушен. Лазарь — или Мэтр? — жён своих не просто любил, обожал, изыскивал особые средства для поддержания мужской силы, но в конце концов отчего-то оставлял — был ли то рок, или вечный, неуёмный поиск совершенства, беспредельного удовольствия? Как бы там ни было, в конечном итоге евангельский герой успокоился с женщиной. Тот был почти, а может и совсем идиот, но они были счастливы.

Словом, роман был на грани. Или за гранью. Многое Арзамасцев так и не понял до конца, не расшифровал, как когда-то пелевинского «Чапаева», не дочитал несколько последних страниц. Не смог... Он испытывал лёгкую тошноту. Его отвращало это чувство. Он не знал, что это было: реализм? Натурализм? Мистический реализм? Фантастика? Эклектика? Нет, пожалуй, какой-то особый рецепт.

Кто сказал, что гений и злодейство — вещи несовместные? Пушкин? Ошибался наше всё. А талант, обширнейшая образованность, и пошлость? Мэтр писал сочно, любовно, словно в экстазе, со знанием мельчайших деталей, очень порнографично писал Мэтр, порой будто врач-гинеколог, а не писатель. Так писать мог лишь изысканный, но и сильно подвинутый, болезненный эстет.

На Арзамасцева «Жёны Лазаря» впечатление произвели неизгладимое. Он ведь учился — у Гоголя, Толстого, Маркеса, Фолкнера, Амаду; эстетствующая порнография Мэтра казалась ему недоступна, и всё же... он проникся некоторым легкомыслием, некоторой насмешливой ироничностью — они его и подвели.

Дело в том, что с Мэтром приключилась довольно обыденная история, о которой как раз накануне поездки в Неаполь сообщили СМИ. Мэтра ограбили среди бела дня на Дорогомиловском рынке. Забрали не только деньги, но и документы. Оформить новые у Мэтра времени уже не было. Между тем милиция была бессильна. Пришлось обратиться к известному московскому авторитету. И, о чудо, всего пару часов спустя документы Мэтра обнаружила дворничиха-узбечка в аккуратном пакете рядом с его подъездом. Впрочем, действительно нашла или ей велели отнести, об этом можно было только гадать, но поезд-

ка в Неаполь была спасена. Мэтр, однако, никак не мог придти в себя. Мало того, в эти дни или часы переменились все его убеждения. Если раньше, как и положено завзятому либералу и западнику, он решительно выступал против ксенофобии, защищал права мигрантов и симпатизировал кавказцам — в своё время он решительно протестовал против Чеченской войны, правда, особенно громко на Западе, — то теперь он резко изменил позицию и требовал загнать Кавказ в резервацию, а вместе с ним и узбеков с таджиками.

— Они, два кавказца, два азербайджанца, или дагестанца, или чеченца, они все на одно лицо, все чёрные, один высокий, другой маленький, держали нож у бедренной артерии, — с пафосом рассказывал Мэтр, стараясь выглядеть героем. — Ещё несколько миллиметров и всё... Я уже прощался с жизнью. Первый, высокий, держал нож, а другой, поменьше, велел, прямо как в кино: «Жизнь или кошелёк». Вот до чего дошло. Слетелись, как мухи на мёд. Сарты¹.

Мэтр ожидал сочувствия, охов и вздохов. Что публика оценит тонкую его наблюдательность и героизм: «На грани жизни и смерти, а смешно стало: «Жизнь, или кошелёк». Они и по-русски-то не умеют. С акцентом. Дикари».

Но вместо сочувствия Арзамасцев сказал:

— Хотели бы убить, убили бы. Только им зачем? Можно было не отдавать документы. Грабителям нужны только деньги, — в девяностые Арзамасцеву не раз приходилось лицом к лицу встречаться с бандитами, и он, нужно признаться, позавидовал чужой незаслуженной славе.

Мэтр промолчал, но на этот раз сильно обиделся. Отмечал других, а про Арзамасцева ни слова, словно его не существовало. А ведь Арзамасцев подарил ему свою книгу. Мог бы взглянуть. Догадаться, кто перед ним. Но самолюблённый Мэтр не открыл. Он вообще никого не читал. Он, Мэтр, смотрел на всех свысока...

Ну да Бог с ним, с Мэтром. Бог ему судья.

Пусть простит автора терпеливый читатель. Про Сашу Гордиенко и про Мэтра, это так, зарисовки из писательской жизни, которая всё больше превращалась в бизнес. То есть бизнес для кого-то другого, а он, Арзамасцев — доимое. Он, однако, был слишком высокого мнения о себе, он знал себе цену,

¹ Сарты — так именовали оседлое население Центральной Азии в XV–XIX веках, преимущественно узбеков и равнинных таджиков, центрально-азиатские кочевники (казахи, киргизы). Русские колонисты в XIX веке придавали этому выражению уничижительный оттенок: «туземцы».

чтобы позволить долго себя доить. Чуть ли не каждую неделю Сергею Адамовичу присылали письма, где писали о его гениальности и предлагали издать его произведения... за его же деньги. Арзамасцеву было смешно. Издать книгу за собственные средства он мог и сам.

После Неаполя Сергей понял: ему не у кого и негде учиться. Не то, чтобы он всё знал. Отнюдь. Знания лишними не бывают. Но ему не академические знания нужны. Писатель — мыслитель. Но этому никто не научит.

Когда-то он мог учиться в Литинституте. Но — поздно. Время... Да и раньше, в молодости. В то время тоталитаризм приспособливал литературу под себя. Выстраивал иерархию. Раздавал сребреники. Назначал литературных генералов. Другие — крутились. Выживали, терпели, приспособливались, бежали на Запад. Хотя и верноподданные были. Много. Но он никогда не был командным игроком. Никогда не хотел быть литературным работником. Он — не мог стать с о в е т с к и м писателем. Писатель — это личность. Не прислуга. Только сейчас, когда какая-никакая свобода. Быть может, оттого свобода, что перестали читать. Зато появилось, что сказать...

Арзамасцев собирался засесть за свой великий, эпический. Он не раз повторял: «Война и мир». В этом ряду имен было немного: Толстой, Достоевский, «Тихий Дон», пожалуй, Симонов, Гроссман, Хемингуэй, Фолкнер, Маркес. Арзамасцев не был филологом, иных писателей — великих — он знал только по именам.

Он хотел засесть за свой роман, но всё время что-то отвлекало. Он стал общественником поневоле, собственным неудачливым агентом. Других не было. Агенты там, где деньги, где жизнь бьёт ключом, литература же задыхалась от безденежья. Народ? Народ перестал читать. То ли поглупел, то ли, наоборот, перерос своих горе-писателей. Писатели перестали быть пророками. Власть? Нынешней власти не нужна литература. Власти нужна власть. Увы, и сам — он никак не мог забраться в башню из слоновой кости.

Так получилось, что Арзамасцев принялся за другой роман. Не тот. Он начал писать свою эпопею с конца. Просто потому, что никак не мог вырваться из прошлого. Чем ближе, тем сильнее прошлое притягивало его к себе, напоминало сновидениями, цепляло осколками прежних дел, воспоминания ещё были ярки. Их следовало запечатлеть на бумаге. А девяносто третий год — отгорел, выветрился из памяти вместе с пожарами Белого дома. Крематории погасли, и люди стали забывать. И он тоже...

По большей части воспоминания у Арзамасцева были свои, личные. Но и они начинали меркнуть от времени; он всё помнил, но краски постепенно выцветали.

Он написал роман, потом ещё один. Он собирался писать повесть, но — понесло. Он не был невольником литературы, как Бальзак или Достоевский, у него не было контракта с издательством, он писал для себя, выплёскивал себя, не жалея. Литература — это исповедь, саморазоблачение. Не больше и не меньше. Арзамасцев и исповедовался каждый день.

Но вот и новый роман бы готов. И он сказал себе: назад! Хватит! Пора возвращаться к главной теме. Он дал обет молчания самому себе: ничего иного не писать, не отвлекаться, не заниматься ничем другим, пока этот, главный его роман не дописан. Увы. Он вышел из темы. Очень многое из того, что было написано несколько лет назад, теперь казалось ему слабо. А многое просто выпадало. Материал был огромный, всё трудно мысленно было охватить. Он очень тяжело входил в тему. И — всё время что-то отвлекало. А главное — мысль, что нет славы, что он по-прежнему чужак. Гость на чужом хмельном пиру. Слава нужна была не ему; слава нужна была его роману. Великому, ненаписанному. Его «Войне и миру», чтобы ответить на единственный вопрос: отчего Россия так несчастна? Отчего год надежды, девяносто третий, стал годом её поражения? И ещё: могло ли быть иначе?

... В девяносто первом он стоял у Белого дома. Он защищал революцию, он был демократом, он ненавидел тех, других, прежних сталинских людей. И в девяносто третьем тоже. В решающий день, вернее, ночь, по призыву Гайдара он пришёл к мэрии. Арзамасцев не думал тогда о литературе. Он полагал: с литературой покончено навсегда. Он мечтал о России. Или о свободе? Сейчас он не мог вспомнить. Он просто жалел. Жалел, что пришёл, что доверился — те, кого он защищал, предали его. И Россию, и свободу. Впрочем, нет, на самом деле всё было сложнее. Он не заметил, как у власти оказались те, кто защищали Белый дом. Хотя нет, часть из них. Другая часть ушла в оппозицию. И из тех, кто побеждал — и в девяносто первом, и в девяносто третьем, тоже — часть была у власти, а часть — в оппозиции. Жизнь тасовала людей, играла судьбами, а всплывало, как всегда, говно. Словом, наступили трудные времена. Выборы без выбора, народ снова превратился в статиста. Впрочем, в России всегда трудные времена. Он сам, Арзамасцев, многого не понимал. Но очень хотел разобраться.

Замысел был эпический, замах — гигантский, он исписал несколько толстых тетрадей, много месяцев просидел в библиотеках — и всё повторилось. Прежняя мысль. Его почти не знают. И — время... Безразличное, унылое время. Время бездарей и денег. Время телекартинки. Депрессия. Застой. Единое литературное пространство распалось...

Это Шолохов принёс «Тихий Дон» с улицы. Он ли написал? Но Шолохову повезло. Могли расстрелять. Однако Сталин кое-что понимал в литературе. Читал! Главный цензор, главный палач, но и — читатель. Шолохова возвеличили. И Островского. За Островского писали другие. И м нужны были герои. Павлики Морозовы, Зои Космодемьянские. Маяковского назначили главпоэтом. Как же: «Я себя под Лениным чищу», пел о пробках в Моссельпроме. «Плевал я на Терека с высокого берега». «Неважная честь, чтоб из эдаких роз / Мои изваяния высились / По скверам, где харкает туберкулёз, / Где блядь с хулиганом, да сифилис». Маяковский — отдался, даже не продан, сам. Загубил талант. Вот его и назначили, посмертно: «Они любить умеют только мёртвых». Его — не Есенина, не Пастернака, не Мандельштама — ко всему и фамилии не те, — не Ахматову. Горького — писатель-то средненький — назначили главным пролетарским писателем мира. Ну, пусть. Литература всё вытерпит. Пролетарский — не значит лучший. И где он теперь, этот пролетариат? Без боя всё отдал толстосумам.

Да, их назначили. Раздули. Но его, Арзамасцева, никто не станет возносить. Кому нужна его правда? Вообще, правда? И м ? И м — опиум для электората! Правые, левые, все замешаны! Все! И м — всякая мысль чудится оранжевой, и м — побольше зрелищ для плебса. Никому он, Арзамасцев, не нужен. Издателям? Издателям — Тополь с Марининой. Нет, ничего личного. Не он один, Арзамасцев. Время массовой культуры. Всё ввали большевики, всё, а ведь вот — правда.

Оставалась последняя возможность: интернет. Социальные сети. Там — пока — свобода. Образованщина теперь — в интернете. Великая всероссийская, всемирная сплетница. Арзамасцев понаслышке знал писателей, отнюдь не лучших, «сделавших» себя в интернете. Скандал. Вот лучшее оружие — скандал. Чтобы о тебе говорили. Хорошо, плохо — всё равно. Главное, вызвать любопытство. Критики настоящей больше нет. В стране неограниченной коррупции коррумпирована и литература. Да, критиков нет, есть пиар-агенты, Саши Гордиенки. Оставалось найти агента...

Итак, Арзамасцеву требовался агент. Он сам плохо знал интернет. У него не было ни времени, — время требовалось для работы, роман поглощал его

без остатка — ни желания пропадать в социальных сетях. К тому же ему казалось, что социальные сети — для сплетников. Он — отстал.

Но где найти такого агента? Агент должен быть умный, читающий, агент должен верить в него... Понимать...

...На ловца и зверь бежит. Не успел Арзамасцев бросить клич, как скоро ему позвонил знакомый писатель. То есть писатель никакой, но человек добрый и член Союза.

— Я, кажется, нашёл, — сообщил он. — Ульяна Морозова. Берёт недорого. Поэтесса. Королева в социальных сетях. У неё чуть ли не двести семьдесят тысяч подписчиков. Пишет про Новороссию. Здорово распиарила мою «Братановскую республику». Читатели валом валят.

«А ведь дерьмо», — не без зависти подумал Арзамасцев. .

— Так вы попробуйте, — настаивал искуситель.

— Только этого не хватает, про Новороссию, — с неудовольствием согласился Арзамасцев, однако записал телефон. Прежде, чем позвонить, он заглянул на «Стихи.ру».

«Я за Россию. Я за Путина», — писала на своей странице Морозова.

Довольно симпатичная мордашка, Георгиевская ленточка на груди. Арзамасцев взглянул на стихи.

Костёр из огня идёт на меня!

Как красиво звучит!

С фашизмом война по окопам горит!

Какая судьба нас настигла с тобой!

На Гражданской войне принимаем мы бой!

За родимый Донбасс!

За Донецк и Луганск!

Мы готовы стоять!

Жизнь готовы отдать!

Мы умрём за мечту,

это наша судьба!

Мы пройдем по огню

в самое пекло костра!

Дебальцево мы ни за что не сдадим!

Не отступим назад! Лучше в пекле сгорим!

Будем с фашистами биться мы до конца!
Ждите смерти от нас,
будет много свинца!

Стихи были дурные, корявые, детские, с множеством ошибок, однако посетителей на странице Ульяны Морозовой набралось почти шестьдесят тысяч. И множество рецензий и откликов.

«Бей фашистов! Так их!» — писал один из читателей.

«Я на этой войне остался без руки. Инвалид теперь. Но мне не жалко. Кто-то должен. Почему не я? — писал другой. — За Россию! За Родину, за Сталина!»

«Молодец Ульянка, — писал третий, бывший ополченец по имени Виктор. — Ульяна Громова тоже из Донбасса была. И Павка Корчагин оттуда».

«Однако, — удивился Арзамасцев. — Психоз какой-то». — Он набрал номер. Не то, чтобы Сергей Адамович очень рассчитывал на неё. Скорее нет. Интеллектом не пахло. Но любопытно. Другой мир, другие люди. Homo soveticus.

Ульяна отозвалась сразу.

— Пиар вам нужен? Ради Бога. А мне как раз нужны деньги.

Встретились у станции метро Баррикадная. По дороге в кафе, чтобы не молчать, Арзамасцев принялся расспрашивать Морозову.

— Вы, говорят, про Новороссию пишете?

— Да, а что? — насторожилась она. — Я — патриотка. Со Стрелковым и с Бородаем дружу.

— Виртуально?

— Нет, зачем же, по жизни, — она, кажется, собиралась обидеться, но передумала. — Я много чего делала. Людей помогала отправлять. Прокламации писала. Сама ездила. На митинги хожу, на собрания. И здесь я тоже активистка. Борюсь против точечной застройки. Сам префект приезжал, со мной разговаривал. Думал договориться. Только я неподкупная.

— Значит, там вы в Донбассе за Россию? А здесь воюете с властью? — удивился Арзамасцев.

— А что? — не поняла она. — Я за Путина. А чиновников я не люблю. Они воруют все. Сами знаете. А там мы против фашистов.

— Да вы хоть знаете, что такое фашизм? Определение читали? — не выдержал Арзамасцев.

— Знаю, — сказала она. — Вот Гитлер фашист. И эти, на Украине, бандеровцы. Всякие Порошенки.

— Гитлер — не фашист, — возразил Арзамасцев. — Гитлер — нацист. А к Сталину вы как относитесь?

— К Сталину — хорошо. Сталин победил фашизм.

— Сталин сам фашист, — поучительно сказал Арзамасцев. — Вы что-нибудь слышали про репрессии? Про полигон «Коммунарка», например. Или Катынь?

— Что-то слышала, — сказала она.

Они вошли в кафе.

— Будете пирожное? — спросил Арзамасцев.

— Нет, по полной, — оживилась Морозова. — Я голодная. Я креветки люблю.

— Хорошо. Креветки, — согласился Арзамасцев. — Стихи давно пишете?

— С детства. Я в школе любила выступать. Я очень здорово пишу. Знаете, какие мне письма?

— Какие?

— Трогательные. Мне ребята пишут, которые в Донбассе воевали. Разные. Знаете, пишет, например, парень из Челябинска, что остался без ноги. Бедствует. Читает мои стихи, плачет. «Душевно», — пишет. Много таких ребят. Хорошие ребята. Многие за деньги: чеченцы, осетины. Но есть такие, что за идею. Таких тоже немало.

— И в чём идея?

— Как в чём? — удивилась она. — Присоединиться к России. Как Крым.

— А зачем?

— Как зачем? — Она начала раздражаться. — Россия — это Россия. Знаете, я укропов не люблю.

— А сами вы: воевали?

— Ездил. Стреляла по укропам. Может, и убила кого. Я не боюсь умереть. Наше дело правое, как говорится. Я только боялась, что искалечат. Как тогда жить?

— Не знаю, — отвечал Арзамасцев. — Да зачем это вам? Что вы там забыли? Зачем убивать?

— А вы бы не поехали? — с разочарованием, показалось Арзамасцеву, спросила Ульяна. — Ребята вот поехали.

— Зачем? — не выдержал, почти закричал Арзамасцев. — Что они забыли в Донбассе? Это чужая земля. Другое государство.

— Защищать русских.

— Да там русских никто пальцем не тронул. Там все давно перемешались: русские, украинцы. Вы мне ещё про распятых мальчиков расскажите¹.

— Вы вот стихи давно пишете, — перевёл тему Арзамасцев. — Хотели учиться? Знаете хоть одного критика? Журналы читаете?

— Зачем? — удивилась Ульяна. — Я от природы. Я ямбов от хореев не отличаю. И критиков не знаю. И поэтов других. Я имею в виду известных. Маяковского в школе проходили. Я — сердцем. Из себя пишу. Я всегда знала, что буду поэтом. Специально институт закончила.

— Какой? — заинтересовался Арзамасцев.

— По рекламе. Специально. Интернет изучала и русский язык. Чтобы себя пиарить.

«Так у вас же полно ошибок», — хотел сказать Арзамасцев, но промолчал. — Вы обещали меня пиарить, — напомнил вместо этого.

— Только бесплатно я не буду, — сказала Ульяна. — За тысячу долларов. Деньги вперёд, а то вы потом не отдадите.

— А вы? Может быть, вам почитать сначала? Подойдёт, не подойдёт? Я ведь пишу не то, что вы думаете. У меня должна быть другая публика. Интеллигентная. Не ваши ребята.

— Нет, я читать не буду, — заупрямилась Морозова. — Я вообще не читаю. Только деньги вперёд. Я разбросаю по интернету. В «Фейсбуке», «В контакте», в «Живом журнале».

— Что вы разбросаете?

— Ну, вашу прозу. Рекламу разную. Вы видели, наверное, в одних «Стихах.ру» у меня почти шестьдесят тысяч читателей.

— Скажите, Ульяна, почему к вам читатели летят, будто мухи на мёд? — собственно, ради ответа на этот вопрос Арзамасцев и встретился с ней. — Это ваш пиар действует, или что-то ещё?

— Не знаю, — она ненадолго задумалась, — я просто пишу. Я за Россию, я за Путина, может, потому и читают.

— Ну при чём тут Путин? — едва скрывая раздражение, спросил Арзамасцев. — При чём тут Путин? Опять Отец народов? Поэзия — совсем другое. Я не представляю, чтобы немцы писали в соцсетях про любовь к Меркель или американцы — к Обаме.

¹ Сюжет о распятом мальчике в Славинске — фальшивка Центрального телевидения (ОРТ).

— Обама — обезьяна, — засмеялась она.

— Да бросьте вы, — не выдержал Арзамасцев, — вполне культурный, цивилизованный человек. Это вы расистка. — Он хотел добавить: «и дура», но сдержался.

И тут его осенило.

— Ульяночка, — спросил он как можно любезней, — скажите, а «Войну и мир» вы читали?

— Это про Наташу Ростову? Читала в школе, только не всю. До конца не дочитала.

— Ну, вот видите, — улыбнулся Сергей Адамович, — вы не можете меня пиарить. Ни за тысячу долларов, ни вообще. Я ведь пишу похоже на Толстого.

Она сразу стала ему неинтересна. «Дурочка, — подумал он. — Дурочка. Мифологическое сознание. Внушаемая. Примитив.

Хотя, все мы «дурочка». Все — внушаемые. От смуты до смуты, и снова... А мним себя лучше и умнее всех. Великие. Оттого так и живём. Сверху до низу «дурочка».

Арзамасцев задал ей последний вопрос:

— Вы замужем?

— Нет, — сказала она. — Была. У меня полно мужиков на баррикадах.

— Это как? — не понял он. — Виртуально? Или?

— На баррикадах, — повторила она.

Арзамасцев простился с ней сразу, даже не стал провожать до метро.

«Дурочка, — повторял он про себя. — Дурочка».

Нужно было возвращаться домой, ворочать свои глыбы — так, кажется, писал Войнович о Солженицыне — тащить свои камни, катить в гору, пытаться найти истину, которая никому не нужна. Разве что очень узкому кругу людей. Страна развалилась, но никто не хочет знать: почему? Всё снова идёт по кругу, по тому же самому кругу. Мифы, одни лишь мифы. Правда, как зеркало, в которое страшно посмотреть.

«Сизиф, — думал Арзамасцев. — Сизиф. Вот я кто, Сизиф. Россия — Сизифова страна».

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

В кои-то веки Владимир Брайнин собрался слетать с женой на отдых в Египет, даже с боем прошёл регистрацию, таможенный контроль и сдал вещи — хотел

уже расслабиться и свободно вздохнуть, как вдруг оказалось, что вылет задерживается минимум часа на четыре. Самолёт, по слухам, застрял то ли в Турции, то ли в Арабских эмиратах. Да если бы один только этот чартер, так нет, сразу рейсов пять или шесть. В зале ожидания набилась масса возбуждённого народа, стало душно и потно, негде притулиться, зато почти сразу объявились энтузиасты, начавшие собирать подписи, чтобы по возвращении обратиться в суд.

Кое-как на кончике стула пристроив жену с ручной кладью, Брайнин попытался отыскать представителей авиакомпании, чтобы узнать точно, что происходит и каковы перспективы, — он во всём любил точность и порядок, — но тех не было и в помине. Перед Duty free начинался митинг. Брайнин не любил пустую говорильню, но деваться было совершенно некуда. Он подошёл. В середине разъярённой толпы, размахивая руками, стоял в белоснежной блузе и в шортах старый знакомый Брайнина Алексей Свиблов, Лёша, с которым Брайнин уже лет пятнадцать не виделся. Рядом с Лёшей находилась пышнотелая, седовласая, с усиками, женщина, по виду прилично его старше. Впрочем, и сам Лёша, хотя и оставался худощав, изрядно был помят и сморщен жизнью, совсем не красавчик-соблазнитель из хирургического отделения, каким когда-то его знал Брайнин. Лёша тоже заметил Брайнина, приветственно махнул рукой и, на полуслове прервав речь, первый кинулся навстречу. Судя по экспрессии, с которой он бросился к Брайнину, Лёша был слегка подшофе.

— Какими судьбами, старик, в Таиланд? — громко радовался Лёша, удивляясь и обнимая Брайнина.

— В Египет, — слегка отстранился Брайнин, — на Таиланд не тяну. При том море — везде море. Пирамиды ещё ни разу не видел.

— Да, пирамиды великая вещь, — согласился Свиблов. — По случаю нашей встречи надо бы выпить. Я заметил хороший французский коньяк неподалёку. Да ещё такая отличная компания, — Свиблов был просто в восторге. — Нам ведь надо часа четыре продержаться. Парадокс, кафе есть, коньяк, пожалуйста, а туалет по ту сторону государственной границы. Мы ведь с тобой уже не в России. Хоть умри, назад не пустят.

Свиблов подошёл к жене, что-то шепнул ей на ухо, та кивнула в ответ. Лёша представил её Брайнину:

— Мой бывший коллега, эскулап высшей категории.

— Отпускаю Лёшу ненадолго под вашу ответственность, — шутливо, но вместе и слишком настойчиво сказала жена Свиблова. Брайнин отметил про себя её плохо скрытое недовольство, но тут же и забыл о нём.

В кафе Лёша оперативно принёс бутылку коньяка, разлил по небольшим рюмкам.

— Ну, как живёшь, — весело спросил он. — Мы с тобой, если память не изменяет, последний раз виделись лет пятнадцать назад, даже уже больше, на баррикадах.

— Да, — подтвердил Брайнин, — в ГКЧП. Ты тогда куда-то исчез.

Лёша хитро улыбнулся.

— Видишь ли, — он снова поднял свою рюмку, и они выпили, — бывшая жена отпустила на баррикады, а я покрутился немного и сбежал к любовнице. Жаль, что там всё так быстро закончилось. А ты торчал до конца? Свергал железного Феликса?

— Двое суток, — сказал Брайнин серьёзно, не принимая игривый тон Свиблова. — Мы, может быть, были идеалистами в то время, но нам было за что сражаться. Дико устали от тоталитаризма и, как второго пришествия, ждали демократии, — Брайнин умел говорить красиво, но обычно стеснялся. Сейчас же коньяк снял скованность, и он почувствовал себя в ударе. Много лет Брайнин молчал, а тут захотелось поговорить.

— Вот как, — снова усмехнулся Свиблов, — я не знал, что ты такой идеалист. Вроде бы всегда был себе на уме. А в девяносто третьем? — Лёша снова наполнил рюмки.

— В девяносто третьем я стал другим, — задумчиво вспоминал Брайнин, — совсем другим. Я как раз затеял своё дело, и на меня тут же наехали бандиты. Обратился было в милицию, так там с меня запросили немалые деньги. Словом, дело пришлось бросить. Это и был мой момент истины. Я понял, что демократия — это не только выборы и слова на трибуне, а — люди. Они там спорили из-за власти, из-за собственности, из-за схемы приватизации, из-за амбиций, может быть, ещё из-за чего-то, а до меня и моей семьи им не было никакого дела. Ни тем, ни другим. Политики всегда говорят о народе, о принципах, а мы — не народ, мы — просто люди, что-то более мелкое. Я к тому времени начал понимать: надо думать о семье. Убьют — никто не поможет. Разумный эгоизм — основа процветания общества. Мы для них массовка, а я массовой быть не хочу.

Они снова подняли рюмки.

— Эк тебя, однако, перекрутило, — ёрнически, как показалось Брайнину, ухмыльнулся Свиблов, — помнится, ты в своё время схлестнулся с главврачом из чистого принципа. Мы, знаешь, удивлялись. А тут такой поворот. Обидели человека.

«Да он дерьмо, циник, — с обидой подумал Брайнин. — Безразличное дерьмо».

— Будто меня одного перекрутило, — недовольно возразил Брайнин. Всю страну перекрутило. Люди устали от политики... и ещё больше от политиков... Все устали. Всем и так всё ясно. При большевиках страна копила силы, интеллигенция ждала часа, — и что? Пар вышел в свисток. Спасибо Борису Николаевичу. Всё вернулось на круги своя. Реставрация.

Странно. Брайнин никогда не говорил так и даже не думал так чётко, пока был трезвый, а сейчас, пьяный, стал высказывать очевидные и даже мудрые мысли, наверняка бывшие у него в подсознании.

— Медицину ты забросил, эскулап? — перевёл тему Свиблов.

— Работаю в медицинской компании, торгуем оборудованием. Это не медицина, конечно. Но хоть приличный доход. Жить можно. В девяностые, ты помнишь, что стало с медициной.

— И я тоже, — подхватил Свиблов, опрокинув очередную рюмку, — я с медициной тоже завязал. К счастью и к большому сожалению. Жена у меня... вот эта, с усиками, нотариус.

— Давно?

— Не то, чтобы очень. Примерно с того времени. С девяносто третьего года, — Лёшины глаза увлажнились, Брайнину даже показалось, что Свиблов хочет заплакать. — Ну а я вокруг неё создал фирму.

— Значит, ты теперь риэлтор? — уточнил Брайнин. — Не жалко профессию?

— Тогда нет. Тогда — деньги. Молодой был. А сейчас немного жалко. Ты слышал про рассёлы? — неожиданно спросил Свиблов.

— Что за рассёлы? — не понял Брайнин.

— Ну, расселения иначе, — уточнил Свиблов. — В те годы это было жутко выгодно. Народ был ещё непуганый, совдеповский, лохи. Коммуналок пруд пруди. Наследие развитого социализма. На этом многие делали состояния.

— И ты?

— И я. На квартире от десяти до пятидесяти тысяч долларов. А бывало и больше, — Свиблов снова выпил. — Только этот бизнес закончился. Капитализм сделал своё дело. Коммуналок больше нет. Разве что самые глухие.

— Но ты ведь не бедствуешь, — глупо улыбнулся Брайнин. Он чувствовал, что лицо его расплывается в пьяноватой улыбке, но ничего не мог с собой поделать, мышцы его не слушались. — Вот, едешь в Таиланд.

— Четвёртый раз едем в Юго-Восточную Азию, — признался Свиблов. Язык у него, как и у Брайнина, чуть-чуть заплетался, а лицо пошло красными пятнами. — Только я за этот Таиланд продал дьяволу душу. Выкупаю квартиры у цыган.

— Что? — опять не понял Брайнин.

— Ну, они пьяниц разных вывозят из Москвы. Иногда и не пьяниц. Всяких. Стариков. Одиноких. Не только цыгане. Конвейер. В Вязники, в Петушки, в лучшем случае в Орехово-Зуево. А там местные риэлторы — дальше, там тоже конвейер. Все хотят жить, — Свиблов вдруг замолчал, в упор глядя на Брайнина, будто что-то пытался вспомнить. — Слышишь, Володя, — наконец вспомнил как зовут Брайнина, а может быть, что-то другое, давнее, — а я ведь ещё при Советах, когда мы работали в больнице, хотел поехать в Юго-Восточную Азию, в Камбоджу.

— Такое неодолимое влечение, — запоздало съёрничал Брайнин. Но Свиблов не обратил на усмешку Брайнина никакого внимания.

— Понимаешь, хотелось заработать. Не забыл ещё, какая зарплата была у врача? А из заграницы привозили «Волги». Как раз был вариант вскоре после свержения Пол Пота. Там своих докторов не осталось. В министерстве приятель — не за просто так, конечно, — держал для меня место. Я же был врач высшей категории, хирург, асс. То, что надо. Только нужно было принести характеристику из парткома. Казалось, мелочь, а разверзлась целая бездна. Я ещё не поехал, а уже дикая зависть. «Как, он поедет, будет там зарабатывать в твёрдой валюте в этом заграничном раю, привезёт «Волгу», а мы тут будем корячиться за копейки», — так и говорили в открытую. А я как раз развёлся с первой женой. Вот из-за этого развода — это формальная причина, конечно, — чего мне только не выговорили: и аморальный тип, и чуть ли не предатель, и рвач, про советский патриотизм вспомнили, даже сняли с доски почёта. Как раз перед самой перестройкой. Так и сорвалась Камбоджа... Такой народ... А, с другой стороны... Помнишь, в больнице был такой врач, Изосимов...

— Был, и что? — смутно припомнил Брайнин.

— Ну, вот он и поехал вместо меня. Через пару-тройку лет вернулся с зобом, там оказался эндемический район. Всё было разрушено. Никакой профилактики. Плюс привёз эхинококка и каких-то ещё паразитов. Умер в начале девяностых. Так что меня, можно сказать, спасла зависть коллег.

— Да, — согласился Брайнин. Он ведь тоже в те же самые годы собирался за границу. Брайнину тоже надоело сидеть в Союзе на тощей зарплате, он

тоже хотел купить «Волгу» и расширить квартиру. В то время у Брайнина была пациентка, очень деловая дама. Через знакомую в МИДе за хорошие деньги она устроилась буфетчицей в посольство, сначала в Венгрии, потом в Югославии. На Запад не пробилась, но всё равно была очень довольна. Брайнин, было, попросил её о протекции.

— А вы знаете, это очень дорого будет стоить, — сказала так, будто он, врач, стоял перед ней нищий.

— Ничего, я найду деньги, — пообещал Брайнин. Он даже не стал раньше времени спрашивать о цене.

Но дама исчезла, так и не оказав протекцию. Тогда Брайнин стал искать ходы сам. Через одного картёжника-пациента он вышел на чиновника из Минздрава. Тот тоже любил играть в карты. К загранице не имел ни малейшего отношения, но всё же спросил:

— Как у тебя с пятым пунктом? Фамилия, вроде бы, слегка подозрительная.

— Наполовину, — сознался Брайнин, — отец был еврей. Умер.

— М-да, — сказал тот, сочувственно глядя на Брайнина, — а тоже, хочешь за границу. У меня есть приятель, тёзка, Олег, значит, он тебе может помочь. Не за просто так, конечно. Плюс за пункт.

Олег второй подозрительно быстро откликнулся на просьбу Брайнина. Через пару дней он уже знал, что есть вакансии в Уганду, Гвинею-Бисау и ещё, — сообщил он со специфическим юмором, — в Верхнюю Вольту, настоящую, без ракет.

— Что дальше? — спросил его Брайнин.

— А дальше всё очень просто, — объяснил Олег, — ты даёшь мне деньги на ресторан, я иду гулять с дамочками из министерства. Будем договариваться, — и он назвал сумму раз в десять больше, чем требовалось по расчётам Брайнина.

— Я могу пойти с вами? — поинтересовался Брайнин.

Олег морщился, словно Брайнин говорил очень неприличные вещи.

— Мы пойдём вдвоём с приятелем. Он их близко знает. Они же не пойдут с любым. Это же чиновницы, а не шалая-валяй.

— Но я хочу лично убедиться, — настаивал Брайнин, — я ведь вижу тебя в первый раз.

— Как хочешь, — пожал плечами Олег, — ради Гвинеи-Бисау я бы и не то сделал. — И он милостиво назвал адрес ресторана.

В назначенное время Владимир Брайнин вошёл в ресторан. В полутьме за столиком у окна на самом деле сидел Олег с каким-то парнем и с ними две полюблённые накрашенные девицы, мало похожие на деловитых чиновниц. Олег, спотыкаясь, подошёл к Брайнину.

— Всё о'кей, — сообщил он, — позвони завтра утром. Будет тебе Гвинея-Бисау, а может, даже и Верхняя Вольта. — На сей раз он забыл про ракеты.

Утром на звонок Брайнина Олег очень долго не отвечал. Наконец, когда Брайнин собирался положить трубку, он услышал больной, охрипший, плаксивый голос Олега:

— Алло, а, это ты? Слушай, Володя, такое дело... Вчера, спяну, я смотрю, просто королева. Хоть под венец... А утром стало тошно, ну, смотрю, чистая блать... И ещё что-то от меня хочет...

— А Африка?

— Какая Африка?.. Ах, да... Совсем забыл. Давай встретимся дня через два. Понимаешь, неудобно было как-то в ресторане... — И Олег положил трубку.

Через два дня Брайнин, как и договорились, встретился с Олегом на троллейбусной остановке. Олег показался Брайнину маленьким, пожелтевшим и сильно помятым, отчего-то он прятал глаза.

— Понимаешь, — сказал Олег, глядя в сторону, — с твоим пунктом никак нельзя в Гвинею-Бисау. Там, — очень многозначительно сказал он, кивнув куда-то вверх, — всё проверяют.

— А в Верхнюю Вольту? — поинтересовался Брайнин.

— Нельзя, — рассердился Олег, — только в Монголию. Если хочешь, приноси документы.

Олег помолчал, ожидая реакции Брайнина, но тот сделал встречную паузу.

— В Монголию чисто по-человечески не советую, — стал убеждать Олег. — Климат резко континентальный, зимой за пятьдесят градусов, бураны, как конец света, летом — пыльные бури, не лучше. Тот же социализм, только ещё более феодальный. Магазины пустые, как в Союзе. Даже ещё пустее. Наши люди в Монголии мрут как мухи. И зарплата социалистическая.

Со слов Олега получалось, что Гвинея-Бисау и Верхняя Вольта — земной рай по сравнению с Монголией. Там нет ни палящего солнца, ни мухи це-це, зато всюду полнейшее изобилие.

Скорее всего, два Олега, пользуясь случаем, мелко разводили Брайнина и вообще не имели отношения к заграникомандировкам. Эдакие два доморощенных самозванца.

— Да, — сказал Брайнин, словно очнувшись, — я так и не поехал в Монголию.

— Куда? — удивился Свиблов.

— Я говорю: в Монголию, — повторил Брайнин. — Это такая страна. И ещё глупая советская разводилка. Кто недостойн был в Африку, мог поехать в Монголию.

— А, в Монголию, — ничуть не удивился Свиблов, вытаскивая из сумки новую бутылку французского коньяка, — слушай, Володя, ты же, кажется, еврей наполовину. Чего ты здесь сидишь?

— Жена, дети кое-как устроены, скоро внуки, русский язык, — стал перечислять Брайнин.

— Да, жена, дети, — перебил Свиблов, разливая коньяк по рюмкам. — Вот мы, сидя на диване, переехали в другую страну. И при этом остались в прежней, — стал философствовать Свиблов, — понимаешь, полное раздвоение. Так не бывает, чтобы без нас, без усилий... По щучьему велению... Мы оказались ленивы и не готовы — ни к демократии, ни к свободе, ни к бизнесу... Мы не умели, не знали с детства, нас не научили. Толкнули в воду и сказали: «Плывите». Наше поколение принесли в жертву. На самом деле, мало кто выплыл. Только самые умные и самые сволочи. А следующее поколение — у него не будет таких возможностей. Всё опять схвачено, везде чиновники, все лучшие места заняли свои. Как там говорят, все вертикальные лифты закрылись... — Брайнин понял, что это не сегодняшние пьяные мысли высказывал Свиблов, а давние, много раз повторенные, сокровенные... — В Таиланде хорошо, — продолжал между тем Лёша Свиблов, — не потому хорошо, что солнце, море, пальмы, а просто... Там можно расслабиться... Не думать... Я, знаешь, раньше был доволен, мне на всё было наплевать. Главное, деньги. А сейчас — постарел, стали сдавать нервы... Бизнес скоро развалится...

— Ты, выходит, недоволен жизнью. Ездишь в Таиланд и недоволен, — глупо удивился Брайнин. Он сам тут же понял, что сказал глупость, при чём тут Таиланд, однако слово уже вылетело. К тому же мысли в голове путались с непривычки от коньяка.

Однако Лёша Свиблов ничуть не обиделся.

— И дом на Кипре, — с полупьяной улыбкой, то ли чему-то радуясь, то ли, наоборот, отчего-то злясь, сказал он.

— Да, и дом на Кипре, — уже не удивляясь, повторил за ним Брайнин. — Мне бы дом на Кипре.

— Жена, — вдруг сказал Свиблов, — ты видел мою жену. Нотариус с усиками. Хожу как по лезвию бритвы. Русский бизнес — это как русская рулетка. Клади патрон и верти барабан.

— Ты просто выпил лишнего, Лёша, — попытался успокоить его Брайнин.

— Нет, Володя, я не пьян. Когда я пью, у меня наступает прозрение.

— Мальчики кровавые в глазах? — невпопад спросил Брайнин. Во второй раз он в тот же миг понял, что сказал что-то не то, совсем не то, что нужно было сказать, но было уже поздно, да ему, собственно, и не очень важно было, что он сказал.

— Всё мальчики. Царевич Дмитрий, — подтвердил Свиблов. — Нет, Володя, раньше мы жили лучше. Тоже гадко, если вспомнить... а лучше... Люди стали хуже. Борьба за существование... в голом виде. Дарвин или Маркс — не помню. Раньше было зло и были мы, да, мы и они, а сейчас — никакой границы... Такой вот русский парадокс. Хотели как лучше.

— Нет, Лёша, я с тобой не согласен, — пытаюсь мыслить трезво, возразил Брайнин. — Мы теперь, как все. Ездим за границу. Ну, может быть, чуть хуже. Родимые пятна... Переходный период.

— Да, переходный период, — неожиданно согласился Свиблов. — Когда-нибудь будет лучше. Только нас не будет. Никого. Вообще, надо признать, жизнь действительно меняется к лучшему. Только — по спирали. А люди — нет. Совсем, как в сказке про Моисея. Помнишь, исход из Египта.

В этот момент подошла жена Свиблова, нотариус с усиками.

— Что же вы, ребята, — недовольно спросила она, — коньяк пьёте и не закусываете? Разве не слышали, что объявили посадку на Паттайю?

Свиблов поднялся и, забыв попрощаться, нетвёрдой походкой побрёл за своей нотариусом. Брайнин тяжело встал, посмотрел на бутылки — одна была пустая, другая выпита на треть — это ж надо, такая история, случайная встреча, исповедальный разговор, а спрашивается — с чего, зачем, он ведь тысячу лет не пил ни коньяк, ни водку, теперь перед женой будет стыдно. Но не это главное. А главное сейчас было то, что с ним, и со всеми, и с Лёшей Свибловым, что-то не то происходит. Не то... Вот в девяностом, когда он, Владимир Брайнин, нёс на демонстрации перечёркнутую шестёрку¹ — тогда было то. В конце восьмидесятых любили повторять слова Чехова, мода была

¹ Перечёркнутая шестёрка — требование отмены 6 статьи Конституции СССР, устанавливавшей руководящую и направляющую роль КПСС.

такая, что надо по каплям выдавливать из себя раба. И он, Брайнин, выдавливал — страх. Или в девяносто первом, у Белого дома, тоже всё было правильно. А потом что-то случилось... В девяносто третьем, когда из-за бандитов Брайнину пришлось бросить своё дело, или при штурме парламента, а может, в девяносто шестом, когда Россия — не Москва, а Россия, — хотела проголосовать за коммунистов, или, может быть, олигархи, или дефолт... Что-то случилось... Поехали не в ту сторону. Украли победу... А может, победы не было? Так, иллюзии, мираж...

Промыкавшись несколько лет в середине девяностых, Брайнин устроился в свою компанию и почти перестал думать о политике. Получалось так, что никому нельзя верить. А он всё ещё хотел верить... В девяносто третьем Брайнин был за Ельцина, но с годами всё больше сомневался... Очень обидно: Брайнин был в душе за реформаторов, но они-то не были за него... Вот и Лёша Свиблов, ездит в Таиланд, а запутался... Мучается... Мы все запутались, потеряли самое главное... Самое главное... А что это — самое главное?

...Над головой что-то зашипело, сквозь треск прорвался голос диктора. Рейс на Хургаду снова задерживался. Надо было искать жену. Брайнин подумал, что вот, опять происходит что-то не то, отпуск начинается слишком оригинально.